АЛЕКСАНДР ДОБРОЯРОВ

ПОКА ВСЕ ПЬЮТ



18+

НЕ УХОДИТЬ ПЕРВЫМ

КНИГА 4

Александр Доброяров

Пока все пьют

«Автор»
2026

Доброяров А.

Пока все пьют / А. Доброяров — «Автор», 2026

Ростов встречает Макса Ветрова знакомыми улицами и людьми, которые всё ещё ему рады. Он трезв, работает, готовится стать опекуном Димки и верит, что наконец сможет жить спокойно. Открытие ресторана обещает деньги и самостоятельность.Но рядом появляется Вероника — жена партнёра. Макс уже знает, куда ведут тайные встречи и отдельный телефон. Знание почему-то не останавливает его. Когда финансовый кризис рушит дело, дома остаётся подросток, который снова ждёт взрослого у двери.История о срыве, стыде и трудной работе по возвращению доверия. Однажды человек, которого Макс обещал спасти, придёт спасать его самого. Четвёртая книга цикла «Не уходить первым».

© Доброяров А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Подсобка 5
Глава 1. Нахаловка 5
Глава 2. Подвал собора 10
Глава 3. «Орбита-Юг» 16
Глава 4. Сорок километров 22
Глава 5. Опека 25
Глава 6. Новый год на Нахаловке 30
Конец ознакомительного фрагмента. 35

Александр Доброяров
Пока все пьют

Часть первая. Подсобка

Глава 1. Нахаловка

Первое, что я сделал в Ростове, — пошёл посмотреть на дверь.

Не к Гоше. Не на рынок. Не к Ирме на Садовую. Гоша звал на долму — я сказал: через час. Анаит кормила Маршала на кухне. Отец уехал в Новочеркасск — смена. Арсен с Ирмой — на Дон.

А я пошёл на Нахаловку. Пешком. От Гошиного дома — десять минут.

Нахаловка не изменилась. Она вообще никогда не меняется. Те же бараки — двухэтажные, деревянные, с облупленной штукатуркой. Те же сараи во дворах. Те же голубятни на крышах. Та же грязь после дождя, по щиколотку. Те же бабки на лавочках. Может, другие бабки — но те же.

Наш барак стоял в конце улицы. Номер семнадцать. Второй подъезд. Второй этаж. Квартира шесть.

Я поднялся по скрипучей деревянной лестнице. Остановился на площадке.

Дверь была другая. Новая, железная, коричневая, с глазком. Отец продал квартиру в две тысячи втором — когда переехал в Новочеркасск. Здесь жили чужие люди.

Но косяк был тот же. Деревянный. Крашеный — синий, потом зелёный, потом снова синий. Облупленный.

На уровне моей груди — сейчас моей груди, тогда моего лба — на косяке была зарубка. Ножом. Неровная.

Я её сделал. В двенадцать лет. В то воскресенье. Когда дверь закрылась.

Я стоял у этой двери и ждал, что она откроется. Час. Потом взял отцовский перочинный нож из кармана и сделал зарубку. На косяке. Чтобы помнить, какого я был роста, когда она ушла.

Зарубка была на месте. Пятнадцать лет. Никто не закрасил.

Я положил на неё палец.

И подумал, что вырос. На тридцать сантиметров. С тех пор.

И только сейчас — по-настоящему.

За дверью кто-то ходил. Детские шаги. Женский голос: «Артёмка, не бегай!» Телевизор. Запах борща.

Чужая жизнь. В моей квартире.

Я не постучал. Спустился вниз. Вышел во двор.

На лавочке у подъезда сидела старуха. Маленькая, сухая, в пуховом платке. С семечками. Смотрела на меня.

Я её узнал. Баба Дуся. С первого этажа. Ей было семьдесят, когда я уходил. Значит, сейчас — под девяносто.

Она смотрела на меня долго. Сплёвывала шелуху.

Потом сказала:

— Витькин.

Не спросила.

— Витькин, — сказал я.

— Максимка, — сказала баба Дуся. — С носом. Сбежал. В четырнадцать.

— Сбежал.

Баба Дуся сплюнула шелуху.

— Я тебе пирожки носила, — сказала она. — Когда отец пил. На лестницу ставила. Под дверь. Ты не знал.

Я замер.

Пирожки. На лестнице. С капустой. Каждое утро, когда я выходил в школу — потом на рынок, — на ступеньке стоял газетный свёрток. Тёплый. Я думал — Гошина мама. Всю жизнь думал.

— Это вы?

— Я, — сказала баба Дуся. — И Гошкина мать. Мы по очереди. Чтоб не догадался. Ты гордый был. Не взял бы.

Она посмотрела на меня. Мутными, старыми глазами.

— А мать твоя, — сказала баба Дуся, — Людка. Она мне перед уходом деньги оставила. Сто рублей. Тогдашних. Сказала — Дуся, корми его. Я не могу. Я кормила. Пока деньги были. Потом — так.

Я сел на лавочку рядом с ней. Ноги не держали.

— Она вам оставила? — спросил я. — Деньги? На меня?

— Оставила, — сказала баба Дуся. — Плакала. Говорила — убьёт он меня, Дуся. Если останусь — убьёт. А если сына возьму — найдёт и убьёт обоих. Я, говорит, лучше одна уйду. А ты его корми.

Она протянула мне семечки. Горсть. В морщинистой ладони.

— На, — сказала баба Дуся. — Лузгай. Ты маленький любил.

Я взял семечки.

Сидел на лавочке у барака на Нахаловке. Лузгал семечки. Рядом с девяностолетней старухой, которая пятнадцать лет назад ставила мне под дверь пирожки. На деньги матери.

Отец сказал в Адлере: она ушла от него. Не от тебя.

Теперь я знал ещё больше. Она ушла — и оставила деньги. Чтобы меня кормили.

Это было мало. Сто рублей. Тогдашних.

Но это было не «ничего».

От бабы Дуси я пошёл не на рынок. На кладбище.

Северное. За Нахаловкой, за железной дорогой, за гаражами. Где лежали все наши — с Нахаловки, с Бербероvки, с Северного. Где лежала Гошина мама.

Я не был на её похоронах. Гоша не позвал. Я узнал только сейчас — Анаит сказала вчера, на перроне, между долмой и тётей Сирануш. Пятый год. Октябрь. Сердце.

Я нашёл могилу через час. Гоша объяснил по телефону — седьмой ряд от часовни, у старой акации, серый камень с фотографией.

На фотографии — женщина. Полная, круглолицая, в платке. Улыбается. Глаза — Гошины. Добрые, немного испуганные. Как будто ждёт, что сейчас что-то уронят.

«Бублик Валентина Петровна. 1951–2005».

И ниже — Гошиной рукой, краской, не высечено, нарисовано:

«Мамочка, ты всех кормила. Спи».

Я стоял у камня.

Валентина Петровна. Я никогда не знал её имени. Всю жизнь — «Гошина мама». Тётя Валя? Нет. Я никак её не называл. Она приходила на кухню, ставила тарелку, говорила — ешь, Максик. Я ел. Уходил. Никогда не говорил «спасибо». Мне было стыдно — что меня кормит чужая мама. Гордый.

А она — два года — ставила пирожки под мою дверь. В шесть утра. Через сына. Чтобы я не знал. Чтобы не было стыдно.

Она знала, что мне стыдно. И кормила так, чтобы мне не было.

Я сел на скамейку у соседней могилы. Деревянную, кривую.

Достал из кармана пакет. Тётя Галя сунула мне вчера на перроне — пирожки, с капустой, на дорогу. Я не съел. Забыл.

Положил один пирожок на камень. Рядом с фотографией.

Глупо. Я знаю. Так не делают. Кладут цветы. Конфеты. Водку в стакане — на Нахаловке так клали всегда, я помнил с детства, стаканы на могилах, накрытые хлебом.

А я положил пирожок.

— Валентина Петровна, — сказал я вслух. Первый раз в жизни — по имени. — Спасибо.

Ветер шумел в акации. Где-то за гаражами лаяла собака. Поезд шёл по насыпи — товарный, длинный, к Батайску.

— Я не знал, — сказал я. — Про пирожки. Я думал — мне везёт. Что кто-то забывает. Каждое утро. Я думал — это случайно.

Поезд гудел.

— Это не случайно, — сказал я. — Это вы. Два года. Я понял только вчера. Когда мне двадцать шесть.

Я помолчал.

— Гоша — как вы, — сказал я. — Он всех кормит. Меня. Анаит. Детей. Весь Ростов чурчхелой. Он меня под мостом нашёл. С барабаном. Он мне бутылки в раковину вылил в Москве. Он мне борщ варил. Ваш. Я узнал вкус.

Я встал.

— Спите, — сказал я. — Я за ним присмотрю. Теперь — я.

Когда я уходил, у ворот кладбища стоял Гоша.

В гавайской рубашке. С ключами от машины — у него теперь была старая «Нива», купил с чурчхелы. Запыхавшийся.

— Анаит сказала — ты на кладбище, — сказал он. — Я подумал — заблудишься. Тут все ряды одинаковые.

— Нашёл.

Гоша посмотрел на меня. Потом — через моё плечо. Туда, где под акацией лежал пирожок на камне.

Он видел. Я знал, что видел.

Гоша ничего не сказал. Только подошёл. Обнял. Неловко, одной рукой.

И мы пошли к машине. Молча.

У машины он сказал — тихо, не глядя на меня:

— Она тебя любила. Мама. Говорила — Максик у нас не чужой, просто гордый. Говорила — гордым нельзя давать в руки, только под дверь.

Он открыл дверь «Нивы».

— Я когда хоронил, — сказал Гоша, — не позвал тебя. Анаит сказала — позвони. Я сказал — нет. Там все пьют. Поминки. Он не выдержит. Он первый год только.

Он посмотрел на меня.

— Мама бы так же сделала, — сказал Гоша. — Под дверь. Не в руки.

Я сел в машину.

И подумал, что меня всю жизнь кормили под дверь. Все. Баба Дуся. Валентина Петровна. Гоша. Арсен — через Ашота. Ирма — через визитку. Клавдия Ивановна — через носки на тумбочке. Деспина — через тарелку на столе в летней кухне, которую я находил утром.

Все знали, что я гордый.

И все находили способ.

Центральный рынок я увидел на следующее утро. В шесть. Как раньше.

Только теперь я не катил тележку. Шёл пешком. С ключами в кармане — Гоша отдал вечером. Два ключа на кольце, с брелоком в виде граната. Ашотовы.

Рынок просыпался. Как всегда. Грузовики у ворот, ругань грузчиков, первые продавцы раскладывают товар, голуби на крышах павильонов, запах рыбы, мяса, зелени, специй. Звон, стук, крики.

Я стоял у главных ворот. У тех самых, где двенадцать лет назад, в девяносто пятом, впервые попросился катать тележку.

И услышал:

— Это что за бородатый у ворот стоит, как памятник?

Тётя Галя.

Она шла из рыбного ряда. Огромная, в фартуке, в резиновых сапогах, с ведром. Шестьдесят пять лет. Не изменилась. Только громче стала.

Увидела меня. Остановилась. Поставила ведро.

— Батюшки, — сказала тётя Галя.

И закричала на весь рынок:

— Люди! Ветров вернулся! Тележечник наш! Бородатый!

Через пять минут вокруг меня стояла толпа.

Рыбный ряд. Мясной. Овощной. Молочный. Пряности. Сухофрукты. Все, кто помнил. Кто не помнил — подошёл посмотреть, на кого все смотрят.

Дядя Миша-молдаванин из винного ряда — постаревший, сгорбленный, но с той же золотой фиксой. Обнял, пахнущий вином.

Балерина — Лилия Аркадьевна — в носочном ряду. Не подошла. Стояла у своего прилавка, прямая, как струна. Смотрела. Кивнула. Один раз. Как кивают ученику, который наконец сделал правильное па.

Самовара не было — Самовар в Ейске. Но его брат, младший, Коля, теперь держал точку Самовара в овощном ряду. Тоже огромный. Тоже с кулаками. Пожал руку так, что хрустнули пальцы.

— Валера сказал — если увидишь Ветрова, — сказал Коля, — передай: КамАЗ ждёт. Когда надо — звони.

А тётя Галя стояла рядом. Держала меня за локоть, как будто боялась, что я опять исчезну. И всем объясняла:

— Трезвый! Три года! В Сочи жил! На баркасе! Людей из шторма вытаскивал! Я по телевизору видела! Ну, не видела. Гоша рассказывал. Это одно и то же!

Подсобка Ашота была в конце фруктового ряда. Маленькая, четыре метра на три. С железной дверью, с замком, с прилавком снаружи. Внутри — полки. Пустые. Ашот всё увёз в Ереван. Остался только запах. Курага, изюм, орехи, сушёный инжир. Двадцать лет этот запах въедался в стены.

Я открыл дверь своим ключом. Вошёл. Постоял.

На гвозде у двери висела доска для нард. Старая, деревянная, с перламутровой инкрустацией. Ашот её не взял. Оставил.

На доске — записка. Его почерком. Армянские буквы, потом русские:

«Максим. Нарды — тебе. Играй с Рафиком. Он выигрывает, потому что молчит. Ты тоже научись молчать. Курагу бери у Сурена в Ереване, он не обманет. Изюм — у узбеков, третий ряд. Орехи — сам выбирай, ты умеешь смотреть. Не воруй у себя. Ашот».

«Не воруй у себя».

Я стоял в пустой подсобке. С запиской в руке.

И понял, что это — моё. Первое. Своё. Не пляж Гурама. Не «Надежда» Янниса. Не агентство Ирмы. Не банк Шаховского. Своё.

Четыре метра на три. Пустые полки. Запах кураги.

И нарды.

Вечером я сидел на кухне у Гоши. Анаит наложила долмы столько, что можно было накормить армию. Маленький Максим спал. Тамара-маленькая ползала по полу за Маршалом, который терпеливо от неё уходил и возвращался. Гоша рассказывал про чурчхелу, которую теперь продаёт по всему Ростову.

Я смотрел на них.

И думал, что это — то, чего у меня никогда не было. Кухня. Семья. Шум. Дети на полу. Кот. Долма.

И что это есть у Гоши. У толстого мальчика с пирожком в «Комсомольской правде». Который всю жизнь падал. За меня.

— Макс, — сказал Гоша, заметив, как я смотрю. — Ты чего?

Я подумал.

— Баба Дуся, — сказал я. — С первого этажа. Знаешь, что она мне рассказала?

Гоша замер. Посмотрел на Анаит. Анаит отвернулась к плите.

— Пирожки, — сказал Гоша тихо. — Про пирожки, да?

— Ты знал?

Гоша покраснел. До лысины.

— Мама и баба Дуся, — сказал он. — По очереди. Я ставил. Под дверь. В шесть утра. Перед школой. Каждый день. Два года. Пока ты на рынок не ушёл. Мама велела не говорить. Говорила — Максик гордый. Если узнает — выбросит.

Я смотрел на него.

Два года. Каждое утро. В шесть. Под мою дверь. Пирожок в газете.

А ещё раньше, в девять лет, в соседнем бараке, — «на, ешь». Открыто. Тогда я взял. А через три года, когда ушла мать, — уже не взял бы. И Гоша это знал.

— Гоша, — сказал я.

Гоша замахал руками.

— Не надо! — сказал он. — Не надо ничего говорить! Ты сейчас скажешь что-нибудь, и я заплачу! А я при детях не плачу! Ну, при Тамарке можно, она маленькая, не понимает. Но при Максимке нельзя!

Он заплакал.

Анаит у плиты засмеялась.

А я сидел за столом с долмой и думал, что Бим был прав. Рыжий — главный. Всегда. Просто белый узнаёт последним.

Глава 2. Подвал собора

Слава был прав. Старое место помнит.

Я понял это на третий день. В девять вечера. На углу Будённовского и Станиславского.

Там стоял ларёк. Тот же самый. Железный, выкрашенный в зелёный, с решёткой на окошке. Пятнадцать лет назад там продавали «Анапу», «Три семёрки», «Агдам» и водку «Распутин» с подмигивающим бородатым мужиком на этикетке. Мы с Гошей покупали там «Анапу» в шестнадцать. Потом — в восемнадцать, в день рождения. Потом я покупал там один. Каждый вечер. В девяносто девятом, в двухтысячном. Когда Тамара не могла прийти. Когда Карина не открыла дверь.

Ларёк стоял. Окошко светилось. За решёткой — бутылки. Ряд за рядом. Другие этикетки, другие цены. Но те же бутылки.

Я остановился.

Не специально. Ноги остановились сами. Как будто тело помнило дорогу лучше головы.

За решёткой сидела продавщица. Пожилая, полная, с крашеными рыжими волосами. Подняла глаза. Посмотрела на меня.

И узнала.

— Ой, — сказала она. — Нахаловский. С носом. Ты ж у меня «Анапу» брал. Каждый вечер. А потом пропал.

Я стоял у окошка.

— Я, — сказал я.

— Вернулся? — Она улыбнулась. Золотой зуб. — Тебе как раньше? «Анапу»? Она теперь не та, но есть.

Я смотрел на бутылки за решёткой.

Тысяча сто тридцатый день.

Три года. Мол. Подвал под храмом Святой Троицы. Бим. Деспина. Вазген. Камень у кошары. Шторм. Медальоны на шее.

И ларёк на углу. Который помнил меня таким, каким я был. Пятнадцать лет назад. И предлагал — как раньше.

— Нет, — сказал я. — Спасибо. Не надо.

Продавщица удивилась.

— Совсем?

— Совсем. Три года.

Она посмотрела на меня. Долго. Потом сказала:

— Ну и правильно. У меня муж от неё помер. От «Анапы». В девяносто восьмом. Я сама не пью. Только продаю.

Она засмеялась. Невесело.

— Смешно, да? Всю жизнь продаю то, от чего муж помер.

Я отошёл от ларька. Быстро. Не оглядываясь.

Руки тряслись.

Группа собиралась в подвале Кафедрального собора. Того самого, что стоит прямо у Центрального рынка. Белый, огромный, с золотыми куполами, видными с любой точки рынка. Четыре года я катил тележку мимо него. Каждый день. Ни разу не зашёл.

Слава дал мне адрес. Четверг, семь вечера. Вход — с торца, через дверь у церковной лавки. Ступеньки вниз.

Я пришёл в шесть сорок пять. Постоял у двери. Как у подвала в Адлере три года назад. Как у двери триста двенадцатой.

Потом спустился.

Подвал был больше, чем в Адлере. Сводчатый, кирпичный, старый — девятнадцатый век. Двадцать стульев в кругу. Электрический самовар на столе. Пряники. Иконы на стенах — много, тёмных, старых. Пахло воском и сыростью.

На стульях сидели человек пятнадцать.

Вела группу женщина. Лет пятидесяти пяти. Седая, коротко стриженная, в строгом сером костюме. С прямой спиной и цепким взглядом. Валентина Сергеевна. Потом я узнал — бывший прокурор Ленинского района. Двадцать лет обвиняла людей в судах. Пила десять лет. Тайно. В кабинете. В сейфе, где хранились дела.

Она увидела меня в дверях. Кивнула на стул.

— Садитесь, — сказала она. — Новенький?

— Не совсем. Из Адлера. Три года. Слава звонил.

Валентина Сергеевна кивнула.

— Вячеслав Андреевич звонил, — сказала она. — Сказал — придёт Максим. Ростовский. С моря вернулся. Сказал — следите за ним первые месяцы. Ростов — его город. Здесь каждый угол — бутылка.

Она посмотрела на меня. Прокурорским взглядом.

— Вы сегодня у ларька стояли, — сказала она. Не спросила.

Я замер.

— Откуда вы…

— У вас руки трясутся, — сказала Валентина Сергеевна. — Я двадцать лет на допросах смотрела на руки. Так трясутся у тех, кто сегодня стоял у ларька. И не взял. Если бы взял — тряслись бы по-другому.

Когда дошла моя очередь, я сказал:

— Меня зовут Максим. Я алкоголик. Тысяча сто тридцатый день. Сегодня стоял у ларька на углу Будённовского. Где покупал «Анапу» в восемнадцать. Продавщица меня узнала. Предложила как раньше.

Тишина.

— Не взял, — сказал я. — Но три года не было так трудно. В Адлере — не было. Там никто не знал, каким я был. А здесь — знают все. И каждый угол помнит.

Валентина Сергеевна кивнула.

— Здравствуй, Максим, — сказала она.

— Здравствуй, Максим, — повторили все.

И среди голосов — один знакомый. Мужской. Молодой. С ростовским «гэ».

Я повернулся.

На стуле у самовара сидел парень. Двадцать восемь лет. Худой, бледный. Без тёмных очков. С русыми волосами — не крашеными, своими.

Кирилл.

Диджей с пляжа «Маяк». Которого я два года назад отправил домой поездом. С долгом в шесть тысяч долларов перед людьми с Левого берега. Которых закрыл Арсен одним словом.

Кирилл смотрел на меня. Улыбался.

— Здравствуй, Ветров, — сказал он.

После группы мы стояли на ступенях собора. Ночь, сентябрь, тепло. Над нами — купола в подсветке. Перед нами — пустой Центральный рынок. Тёмные павильоны. Где-то лаяла собака.

Кирилл курил.

— Два года, — сказал он. — Почти. Двадцать второго октября будет.

— Ты пил?

— Не пил, — сказал Кирилл. — Я торговал. Таблетками. Ты видел. А сам — пил. Каждую ночь. После дискотеки. Чтобы не думать, что продаю. Потом — днём. Чтобы не думать, что пил ночью.

Он выпустил дым.

— Когда ты меня отправил домой, — сказал Кирилл, — я думал — всё. Приеду, меня встретят. С Левого. Я ехал в поезде и пил. Всю дорогу. Двадцать часов. Думал — пусть хоть пьяным убьют, не так страшно.

— И что?

— А никто не встретил, — сказал Кирилл. — Я вышел на вокзале. Ждал. Час. Два. Никто. Я позвонил им сам. Сказал — я приехал, где вы. Они сказали — пацан, ты свободен. Долг закрыт. Арсен сказал.

Он посмотрел на меня.

— Я не понял, — сказал он. — Кто такой Арсен, я знал. Но почему он — за меня? Я его никогда не видел.

— Не за тебя, — сказал я. — За меня. Я попросил Гурама. Гурам — своих в Ростове. Они — Арсена. Арсен сказал одно слово.

— Какое?

— «Мой».

Кирилл долго молчал. Курил.

— Мой, — повторил он. — Про тебя?

— Про меня.

Кирилл засмеялся. Тихо.

— Значит, я — через тебя — тоже чей-то, — сказал он. — Получается.

Он выбросил окурок.

— Я на вокзале стоял, — сказал Кирилл, — два часа. Пьяный. Никто не пришёл меня убивать. И я вдруг понял, что если никто не пришёл убивать — значит, надо жить. А жить пьяным — не получится. Я пошёл в собор. Вот в этот. Утром. Свечку поставить. Мне бабка в лавке сказала — внизу, сынок, по четвергам, такие, как ты, собираются.

Он посмотрел на купола.

— Я двадцать лет мимо ходил, — сказал Кирилл. — Не заходил.

— Я тоже, — сказал я. — Четыре года с тележкой. И потом всю жизнь.

Мы пошли вниз. По ступеням. Через пустую площадь у рынка.

У ворот рынка Кирилл остановился.

— Ветров, — сказал он. — Я тебе должен.

— Ничего ты не должен.

— Должен, — сказал Кирилл. — Шесть тысяч долларов — ты не платил. Арсен не платил. Никто не платил. Их просто — отменили. Как будто их не было. Но они были. Я их чувствую. Каждый день.

Он полез в карман. Достал визитку. Простую, белую.

«Кирилл Стрельцов. Звук и свет. Свадьбы, корпоративы, открытия».

— Я теперь свадьбы озвучиваю, — сказал он. — Трезвые свадьбы. Ну, гости пьют. А я — нет. Нормально получается. Люди говорят — у тебя музыка честная.

Он протянул мне визитку.

— Когда будешь что-то открывать, — сказал Кирилл, — звони. Бесплатно. Пожизненно. Это не долг. Это — чтобы я знал, что могу отдать.

Я взял визитку.

И не знал тогда, что через полгода позвоню ему. На открытие ресторана на Пушкинской. Где он будет ставить музыку. А я буду сидеть за столиком в углу. С компотом. И смотреть на женщину в красном платье.

И что эту ночь Кирилл тоже будет помнить. Как я помню ступени Казанского вокзала.

Домой я шёл мимо ларька на углу Будённовского.

Другой дорогой можно было. Через Театральную. Длиннее на десять минут.

Я пошёл мимо ларька.

Нарочно. Чтобы проверить.

Окошко светилось. Продавщица с рыжими волосами сидела за решёткой. Увидела меня. Подняла руку — помахала.

Я помахал в ответ.

И прошёл мимо.

Руки не тряслись.

Тысяча сто тридцатый день.

Валентина Сергеевна сказала на прощание: «Ларёк не уйдёт. Он будет стоять там всегда. Вопрос не в том, чтобы его не видеть. А в том, чтобы проходить мимо. Каждый день. Пока он не станет просто ларьком».

Я решил, что буду ходить мимо. Каждый день.

Пока не станет.

Про сейф Валентина Сергеевна рассказала мне в октябре. На четвёртой неделе. Когда я остался после группы — помочь убрать стулья.

Она мыла чашки у электрического самовара. Я складывал стулья. Подвал пустел. Иконы на стенах смотрели на нас тёмными глазами.

— Вы ведь не сразу поняли, — сказала она, не оборачиваясь. — Тогда. На первой встрече. Откуда я знаю про руки.

— Не сразу.

— Двадцать лет на допросах, — сказала Валентина Сергеевна. — Я видела тысячи рук. Убийц. Воров. Насильников. Взяточников. Свидетелей. Жертв. Руки не врут. Лицо — врёт. Голос — врёт. Руки — нет.

Она поставила чашку на полку.

— Я свои руки прятала, — сказала она. — Десять лет. Под столом. В карманах. В перчатках — зимой и летом. Говорила — экзема. Аллергия на бумагу.

Она повернулась ко мне. Показала руки. Сухие, тонкие, с аккуратными ногтями. Спокойные.

— Сейчас — не прячу, — сказала она. — Двенадцать лет. А тогда — тряслись. Каждое утро. До первой рюмки.

Она села на стул. Я сел напротив.

— Сейф стоял в кабинете, — сказала Валентина Сергеевна. — Железный. Старый. Советский. С двумя ключами. Один — у меня. Второй — у начальника. В сейфе — дела. Особо важные. Убийства. Коррупция. То, что нельзя оставлять на столе.

Она помолчала.

— И коньяк, — сказала она. — За делами. В углу. Бутылка «Белого аиста». Всегда. Десять лет. Я приходила в восемь. Закрывала дверь. Открывала сейф. Рюмку. Закрывала. Шла на допрос.

Она посмотрела на иконы.

— Я посадила за десять лет — около трёхсот человек, — сказала она. — Пьяные драки. Пьяные убийства. Пьяные за рулём. Каждый раз я стояла в суде и говорила: «Подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения, что является отягчающим обстоятельством». Каждый раз. С рюмкой «Белого аиста» внутри.

Она засмеялась. Невесело.

— Лицемерие, — сказала Валентина Сергеевна. — Я знала. Каждый день. Я обвиняла их в том, что делала сама. Только они — в подъездах, а я — в сейфе. С делами об убийствах.

— Как вас поймали? — спросил я.

Она покачала головой.

— Не поймали, — сказала она. — Никто. Десять лет — никто. Начальник знал, наверное. Секретарша — точно. Все молчали. Прокурор района — уважаемый человек. Зачем скандал.

Она помолчала.

— Я сама, — сказала Валентина Сергеевна. — В девяносто шестом. Дело было. Парень. Девятнадцать лет. Пьяный, сбил на машине женщину на переходе. Насмерть. Я его обвиняла.

Она смотрела в пол.

— Его мать пришла в суд, — сказала она. — Последнее заседание. Встала. Попросила слово. Судья разрешил. Она сказала: «Мой сын пил, потому что его отец пил. А отец пил, потому что его отец пил. Мы все пьём. Вся страна. Вы, гражданин прокурор, — вы тоже пьёте. Я вижу. Ваши руки трясутся. Как у моего мужа. Как у моего сына. Почему вы его судите, а не себя?»

В подвале стало тихо.

— Весь зал посмотрел на мои руки, — сказала Валентина Сергеевна. — Я держала их на столе. На папке с делом. Они тряслись. Я не могла остановить. Первый раз за десять лет — не могла спрятать.

Она подняла глаза.

— Парня посадили, — сказала она. — Восемь лет. Я требовала десять. Суд дал восемь. Мать сказала — спасибо, что не десять. Ушла.

Она помолчала.

— Я в тот же вечер написала заявление, — сказала Валентина Сергеевна. — Об увольнении. По собственному. Потом открыла сейф. Достала «Белый аист». Вылила в раковину. В туалете прокуратуры. И пошла сюда. В подвал. Тогда тут было пять человек. И батюшка.

— А парень? — спросил я.

Валентина Сергеевна долго молчала.

— Вышел в две тысячи четвёртом, — сказала она. — Условно-досрочно. Я его встретила. У ворот колонии. Сама. Как вы — отца встречали. Мне Вячеслав Андреевич рассказывал.

Она посмотрела на меня.

— Я ему сказала — прости. Я тебя судила за то, что делала сама. Он ничего не сказал. Сел в автобус. Уехал.

Она встала. Взяла последнюю чашку. Поставила на полку.

— Через два года он пришёл сюда, — сказала Валентина Сергеевна. — В подвал. Сел на крайний стул. Вон тот, у двери. Сказал — меня зовут Денис. Я алкоголик. Шесть дней.

Она посмотрела на стул у двери.

— Сейчас — у него три года, — сказала она. — Работает в автосервисе. Женился. Ребёнок. Он сидит вон там, по вторникам. Вы его не видели — вы по четвергам.

Она выключила самовар.

— Вот почему я знаю про руки, — сказала Валентина Сергеевна. — Не потому что прокурор. А потому что мать подсудимого однажды посмотрела на мои. И сказала правду. Вслух. При всех.

Она пошла к выходу. У двери остановилась.

— Вы так умеете, — сказала она, не оборачиваясь. — Я вижу. Смотреть на руки. Говорить вслух. Не бойтесь. Это — дар. Не проклятие. Если говорить им — а не про них.

Глава 3. «Орбита-Юг»

Садовая, семнадцать.

Я шёл по Большой Садовой от Будённовского. Мимо знакомых фасадов и витрин. Мимо магазинов, которых не было восемь лет назад, и магазинов, которые были.

И остановился у старого дома с лепниной. Три этажа. Облупленный фасад.

На первом этаже — салон сотовой связи. Яркий, стеклянный, с огромными плакатами: «Безлимит за 299!». Внутри — молодые продавцы в жёлтых футболках, витрины с телефонами.

Девять лет назад здесь была дверь. Деревянная, тяжёлая. С колокольчиком. И вывеска с одной отвалившейся буквой: «ТАМА А. Пошив и ремонт одежды».

Я стоял на тротуаре и смотрел на салон связи. Пытался увидеть сквозь витрины и плакаты то, что было раньше. Прилавок. Манекены. Швейную машинку «Зингер». Шторку примерочной — бархатную, бордовую.

За шторкой — зеркало в рост. В зеркале — пацан восемнадцати лет в мятых брюках. И женщина с булавками во рту.

Продавец в жёлтой футболке вышел на крыльцо. Посмотрел на меня.

— Молодой человек, вам помочь? Тариф подобрать?

Я покачал головой.

— Здесь было ателье, — сказал я. — Раньше. Девять лет назад.

Продавец пожал плечами.

— Не знаю. Я здесь год. Тут до нас было кафе. А до кафе — пожар, говорят. Всё сгорело.

— Сгорело, — сказал я.

Он ушёл внутрь.

А я поднял голову. На второй этаж. Над салоном связи. Окна — свежевыкрашенные. Над одним — маленькая латунная табличка. Новая.

«Орбита-Юг. Model Management».

И планета с кольцом. Сатурн.

Ирма сидела за столом. Не стеклянным — деревянным, старым, купленным на барахолке на Нахичевани. В маленьком кабинете с высоким потолком и лепниной. На стене — одна фотография. Девочка на перроне с картонным чемоданом.

Рядом — ещё одна. Новая. Ирма в ситцевом платье в горошек на подиуме «Красного Октября». «L'ultima partenza». Франческа прислала.

Ирма подняла глаза.

— Девять ноль-ноль, — сказала она. — Ты опоздал на минуту.

— У вас часы спешат.

— Спешат, — согласилась Ирма. — Садись.

Я сел. Огляделся.

Три комнаты. Кабинет. Приёмная — с одним диваном, старым, кожаным, тоже с барахолки. И зал для кастингов — бывшая гостиная с паркетом и зеркалом во всю стену.

На диване в приёмной сидели девочки. Пятеро. Ростовские. В джинсах и куртках, без косметики, с папками на коленях. Как в «Орбите» на Тверской шесть лет назад. Только злее. Я видел. Они смотрели на меня не как на мебель. Как на противника.

— Ростовские, — сказала Ирма, проследив мой взгляд. — Я говорила. Злые. Голодные. Им не нужен Милан. Им нужно вырваться. Из Батайска, из Шахт, с Северного, с Нахаловки. Как тебе было нужно. Как мне.

Она закурила. Одна в день. Утренняя.

— Денег нет, — сказала Ирма. — Совсем. Агентство живёт на то, что я получаю от «Ред Старс» за консультации и за то, что я им отправляю лучших девочек. Мне нужен человек на полставки. Три дня в неделю. Скаутом. Как раньше. Я не могу платить много. Пятнадцать тысяч.

— Я согласен.

Ирма посмотрела на меня. Прозрачными глазами.

— Ты не спросил про условия, — сказала она.

— Какие условия?

— Одно, — сказала Ирма. — Новое. Не то, что было в Москве. Не «не спать с моделями». Это ты сам теперь знаешь.

Она потушила сигарету.

— Новое условие, — сказала Ирма. — Когда ты что-то видишь в девочке — ты говоришь ей. Не мне. Ей. Сначала — ей. Потом, если надо, — мне.

Я смотрел на неё.

— В Москве ты говорил мне, — сказала Ирма. — Про всех. Про Катю Соломину. Про Стаса. Про рыжую с ножницами. Я принимала решения. Ты — смотрел. Это было удобно. Тебе. Мне. Но не им.

Она помолчала.

— Катя Соломина мне звонила, — сказала Ирма. — В прошлом году. Из Краснодара. Рассказала, что встретила тебя в Адлере. В подвале. Что ты ей сказал — «я тогда сказал про тебя, а не тебе». Она плакала. Я тоже.

Она посмотрела на фотографию девочки на перроне.

— Мне никто ничего не сказал, — сказала Ирма. — В семнадцать. Когда он меня взял. Все видели. Мать видела. Соседи. Никто не сказал мне — Иринка, это плохо кончится. Все говорили — про меня. Друг другу. За спиной.

В тот вечер, после первого дня в «Орбите-Юг», Ирма попросила проводить её домой.

Не на машине. Пешком. Через всю Нахичевань.

Она жила на Тридцать девятой линии. В том самом доме, где выросла. Двухэтажный, кирпичный, армянской постройки девятнадцатого века, с деревянными балконами и чугунными решётками. Облупленный. С трещиной по фасаду. С виноградом, который вился по стене до второго этажа.

Мы шли по линиям. Нахичевань — старый армянский город, который Ростов проглотил сто лет назад. Улицы — линии, пронумерованные, прямые, как в Петербурге. Дома — низкие, старые, с внутренними двориками. Армянская церковь Сурб Хач на холме. Тополя. Акации. Запах жареных семечек.

Ирма шла медленно. Курила — вторую за день, она нарушала правило только со мной.

— Здесь я выросла, — сказала она. — На этих линиях. Тридцать девятая — дом. Тридцать восьмая — школа. Сороковая — порт, через пустырь. Там краны. Я за кранами курила. С десяти лет.

Она остановилась у перекрёстка.

— Вот здесь, — сказала Ирма. — Здесь он меня поймал. В семьдесят восьмом. С сигаретой. Ему двадцать три. Мне семнадцать. Он шёл из гаража. В кожаной куртке. Увидел меня. Остановился. Сказал — девочка, тебе рано курить. Я плюнула ему в лицо.

Она засмеялась. Тихо.

— Он вытер лицо, — сказала Ирма. — Посмотрел на меня. И засмеялся тоже. Сказал — ты злая. Это хорошо. Злые выживают. Хочешь, научу, как выживать по-настоящему?

Она выпустила дым.

— Я сказала — хочу, — сказала Ирма. — Девять лет он учил. Потом — двадцать три года я выживала одна. Без него. Тем, что он научил.

У её дома, во дворе, на лавочке сидела старуха. Маленькая, сухая, в пуховом платке. Как баба Дуся. Как Цербер. Все ростовские старухи — в пуховых платках, даже в сентябре.

Она посмотрела на Ирму. Потом на меня.

— Иринка, — сказала старуха. — Опять с мужчиной. Арсен знает?

Ирма засмеялась.

— Тётя Ашхен, — сказала она. — Это Максим. Он мне как сын. Арсен знает. Арсен его любит больше, чем меня.

Тётя Ашхен посмотрела на меня. Долго. Старыми армянскими глазами.

— Сын, — сказала она. — У тебя не было детей, Иринка. Откуда сын?

Ирма перестала смеяться.

Посмотрела на меня. Прозрачными глазами.

— Не было, — сказала она тихо. — Своих не было. Не получилось. После всего. После порта, после фабрики, после Москвы. Врачи сказали — поздно. В сорок.

Она помолчала.

— Но этот — был, — сказала Ирма. — Девятнадцать лет — пришёл в купе. Сел напротив. Морщил нос. Я посмотрела — и подумала: вот. Если бы у меня был сын — он был бы такой. Глупый. Красивый. С носом. Который знает, что уронит.

Тётя Ашхен кивнула. Медленно.

— Так бывает, — сказала она. — У меня тоже. Своих — трое. А четвёртый — соседский. Мать пила. Я его кормила. Двадцать лет. Он мне теперь звонит из Америки. Каждое воскресенье. Свои — не звонят. А он — звонит.

Она посмотрела на меня.

— Ты ей звонишь? — спросила тётя Ашхен. — Каждое воскресенье?

Я растерялся.

— Я… мы видимся. На работе.

— Это не то, — сказала тётя Ашхен. — На работе — это работа. Звонить в воскресенье — это другое. Звони.

Она встала. Пошла в дом. Опираясь на палку.

Ирма стояла у подъезда. Курила. Не смотрела на меня.

— Не слушай её, — сказала она. — Старухи все одинаковые. Всем надо, чтобы звонили.

Я смотрел на неё.

Пятьдесят лет — нет, сорок шесть. Платиновые волосы, почти седые. Прямая спина. Чёрное пальто. Сигарета.

Женщина, которая дала мне визитку. Которая отправила Яну домой. Которая продала агентство, квартиру, «Вольво», чтобы расплатиться за мои подписи. Которая нашла меня в вытрезвителе на Каланчёвке. Которая сказала — «Ты продал меня за женщину, которая тебя даже не читает».

И которая сейчас — стоит у подъезда дома, где выросла, и говорит, что у неё не было детей.

— Ирма, — сказал я.

Она не обернулась.

— Я буду звонить, — сказал я. — По воскресеньям.

Ирма долго молчала. Потом бросила сигарету. Затоптала.

— Не обещай, — сказала она. — Ты знаешь, что я не люблю, когда обещают.

— Не обещаю. Буду.

Она обернулась. Посмотрела на меня. Прозрачными глазами — мокрыми.

— Ветров, — сказала Ирма. — Иди домой. У тебя мальчик через месяц приедет. Готовь комнату.

И ушла в подъезд.

Я звонил ей каждое воскресенье. Три года. Даже когда был на Береговой. Даже когда сидел на мосту — нет, тогда не звонил. Но в следующее воскресенье — позвонил.

Она всегда брала трубку после первого гудка.

Всегда говорила одно и то же: «Ветров. Живой?»

Я говорил: «Живой».

Она говорила: «Хорошо». И вешала трубку.

Тридцать секунд. Каждое воскресенье.

Тётя Ашхен была права. Это — другое.

В первый же день я увидел Алину.

Двадцать лет. С Северного. Высокая, тонкая, тёмноволосая. Красивая — по-настоящему, как Даша на Черкизоне, той красотой, которую ловит камера. Ирма взяла её месяц назад. Уже были два заказа — каталог одежды и реклама ростовского ювелирного.

Я смотрел на неё в зале для кастингов, пока Гера — да, Гера, Ирма перетащила его из Москвы, он жил теперь в коммуналке на Нахичевани и пил из кофейной чашки по-прежнему, — снимал портфолио.

Три секунды.

Алина улыбалась в камеру. Красиво. Правильно. А когда Гера отворачивался, чтобы поменять плёнку, — она проверяла телефон. Каждый раз. Быстро. С напряжённым лицом. И на руке, у запястья, под браслетом — синяк. Жёлтый, старый. И новый, лиловый, рядом.

Я знал эти синяки. Я видел их у матери. В девяносто втором. На запястье. Когда отец хватал её, чтобы не ушла из кухни.

Раньше я пошёл бы к Ирме. Сказал бы — у Алины синяки, кто-то её держит. Ирма бы позвонила кому-то. Приняла бы решение.

А я — отошёл бы в сторону.

Я дождался, пока Гера закончит. Пока Алина переоденется. Пока выйдет на лестницу — покурить.

Вышел за ней.

Она стояла у окна на площадке второго этажа. Курила. Смотрела на Садовую. Увидела меня — напряглась. Спрятала руку с синяками за спину.

— Вы тот, из Москвы, — сказала она. — Ирма Генриховна говорила. Который видит.

— Я.

— И что вы видите? — спросила Алина с вызовом.

Я подумал. Как сказать. Чтобы не напугать. Чтобы не обидеть. Чтобы не «про неё», а «ей».

— Я вижу, что у тебя на руке синяки, — сказал я. — Два. Старый и новый. И что ты каждые пять минут проверяешь телефон. Как будто кто-то ждёт отчёта. Где ты. С кем. Почему не отвечаешь.

Алина замерла. Сигарета застыла на полпути ко рту.

— Я вижу это, потому что видел у матери, — сказал я. — Когда мне было двенадцать. Отец держал её за запястье. Чтобы не ушла. Она ушла всё равно. Но через год. И оставила меня с ним.

Алина смотрела на меня. Губы дрожали.

— Я не говорю тебе, что делать, — сказал я. — Не моё дело. Я просто говорю — я вижу. И если ты захочешь — Ирма Генриховна знает людей. И я знаю. Помогут.

Алина долго молчала. Потом бросила сигарету в банку из-под кофе на подоконнике.

— Он не бьёт, — сказала она тихо. — Он просто держит. Когда я хочу уйти. На кастинг. На съёмку. Он говорит — модели все шлюхи. Говорит — если поедешь, можешь не возвращаться. Я еду. Возвращаюсь. Он держит. Вот так.

Она показала запястье.

— Он не плохой, — сказала Алина. — Он боится. Что я уйду. Его мать ушла. Когда ему было десять.

Я закрыл глаза.

Его мать ушла. Когда ему было десять.

Я рассказал Ирме вечером. После того как поговорил с Алиной. Не до. После.

Ирма слушала. Курила — вторую за день, нарушила правило.

— Ты сказал ей, — сказала она.

— Сказал.

— Сначала ей.

— Сначала ей.

Ирма кивнула. Медленно.

— И что она?

— Сказала — подумает. Сказала — он не плохой. Он боится.

Ирма выпустила дым.

— Они все не плохие, — сказала она. — Все, кто держат. Арсен тоже не был плохой. Он боялся. Что я уйду. Как отец его бил — и мать терпела, не уходила. Он думал — если держать крепко, не уйдут.

Она посмотрела на меня.

— А ты? — спросила Ирма. — Ты тоже держишь?

Я подумал.

— Я — наоборот, — сказал я. — Я ухожу первым. Чтобы не держать. Чтобы меня не держали.

— Это то же самое, — сказала Ирма. — С другой стороны. Он держит, потому что боится, что уйдут. Ты уходишь, потому что боишься, что уйдут. Страх один. Руки — разные.

Алина ушла от своего парня через месяц. В октябре. Сама. Ирма нашла ей комнату на Нахичевани — в той же коммуналке, где жил Гера. Гера сказал — пусть живёт, у меня всё равно только кофейные чашки и пыль.

Парень пришёл в агентство через неделю. Двадцать три года. Высокий, худой, с бешеными глазами. Стоял на лестнице. Кричал. Требовал Алину.

Я вышел к нему.

Он посмотрел на меня. Сжал кулаки.

Я посмотрел на него. Три секунды.

И увидел мальчика десяти лет. В квартире на Северном. У двери. Которая закрылась.

— Сколько тебе было? — спросил я. — Когда мать ушла?

Он замер. Кулаки разжались.

— Откуда ты…

— Мне было двенадцать, — сказал я. — Я стоял у двери час. Потом сделал зарубку на косяке. Ножом. Чтобы помнить, какого я был роста.

Он смотрел на меня. Долго. Бешенство в глазах гасло. Медленно. Как угли в мангале.

— Десять, — сказал он тихо. — Мне было десять.

— Пойдём, — сказал я. — Покурим. Я расскажу тебе, что было дальше. Со мной. Может, тебе пригодится.

Мы стояли у окна на лестнице два часа. Он курил. Я — нет.

В ноябре он пришёл в подвал собора. Сел на крайний стул у двери. Молчал. Как Катя в Адлере.

Валентина Сергеевна посмотрела на меня. Кивнула. Ничего не сказала.

Ирма сказала мне потом, на лестнице, закуривая:

— Ветров. Ты понимаешь, что ты сделал?

— Что?

— Ты увидел девочку, — сказала Ирма. — Сказал ей. Она ушла. А потом ты увидел того, от кого она ушла. И сказал ему тоже.

Она выпустила дым.

— Двадцать лет назад, — сказала Ирма, — если бы кто-нибудь сказал Арсену — тебе, в двадцать три. Что ты держишь, потому что боишься. Может, я бы не уехала.

Она потушила сигарету.

— А может, уехала бы, — сказала Ирма. — Но он бы не держал так. И мне не пришлось бы бежать двадцать три года.

Она ушла в кабинет.

А я стоял у окна на лестнице второго этажа. Над салоном сотовой связи. Над бывшим ателье.

И думал, что девять лет назад здесь, внизу, за шторкой, я впервые услышал, как женщина, которую держат, говорит: «Он меня держит. Двадцать лет».

И ничего не сказал. Ни ей. Ни ему.

Я просто взял. Что мог.

Глава 4. Сорок километров

От Ростова до Новочеркасска — сорок километров. Сорок минут на электричке. Тридцать — на машине, если не стоять в пробке на выезде с Аксая.

Первое воскресенье октября я поехал на электричке. С отцовским мангалом в коробке, перевязанной морским узлом. С мясом от армянина в мясном ряду Центрального — того самого, который когда-то сбавил отцу цену вдвое. С берёзовыми углями — отец просил, говорил, в Новочеркасске берёзу не продают.

Отец встретил меня на вокзале. В новом пальто — тёмно-сером, с этикеткой на рукаве. Он так и не срезал её. Третий год.

— Ты её не срежешь? — спросил я.

Отец посмотрел на рукав.

— Зачем? — сказал он. — Пусть видно, что новое. У меня никогда нового не было. Пусть все знают.

Отец жил в общежитии завода. Комната девять метров. Койка, тумбочка, шкаф, плитка. Окно на заводскую трубу. Пять лет так жил. Как в колонии, только без решётки.

Мангал там поставить было некуда.

Я это знал. Поэтому в электричке ещё решил.

— Пап, — сказал я на перроне. — Пойдём дом смотреть.

Отец остановился.

— Какой дом?

— Маленький. На окраине. С двором. Я нашёл. По объявлению. Хозяйка — вдова, уехала к дочери в Краснодар. Сдаёт недорого. Четыре тысячи в месяц. Две комнаты, кухня, печка. Двор — шесть соток. Яблони. Сарай.

Отец смотрел на меня. Долго.

— У меня денег нет, — сказал он. — Четыре тысячи. Я получаю двенадцать.

— Я плачу, — сказал я.

Отец покачал головой.

— Не надо, — сказал он. — Ты мне ничего не должен. Это я тебе должен. Двадцать девять писем. Шесть лет. Детство.

Я смотрел на него. На пальто с этикеткой. На руки сварщика. На серо-зелёные глаза — мои.

— Пап, — сказал я. — Мангалу нужен двор.

Отец долго молчал. Потом засмеялся. Хрипло, коротко, с кашлем.

— Мангалу, — повторил он. — Ну, если мангалу…

Дом стоял на Хотунке. На самой окраине, где Новочеркасск кончается и начинаются огороды, сады, степь. Улица — грунтовая, в ямах. Дома — старые, казачьи, саманные, побелённые. Заборы из штакетника. Собаки за каждым забором.

Наш — последний. Маленький, белый, с синими ставнями. Крыльцо в три ступеньки. Двор — яблони, старые, корявые, в паданцах. Сарай с покосившейся дверью. Колодец с журавлём. И скамейка у забора. Деревянная, серая от дождей.

Отец вошёл во двор. Остановился. Огляделся.

Потом подошёл к сараю. Посмотрел на дверь. На петли — ржавые, гнутые, на одном гвозде.

— Аппарат нужен, — сказал он.

Я засмеялся.

— Как у Деспины.

— Как у Деспины, — сказал отец. И впервые за три года улыбнулся так, как улыбался на фотографии на доске почёта. В восемьдесят первом. Когда я родился.

Мангал мы поставили под яблоней. Отец разжёг берёзовые угли. Нанизал мясо. Я сидел на скамейке у забора. Смотрел.

Воскресенье. Октябрь. Солнце низкое, тёплое. Пахнет дымом, яблоками, осенью. Где-то за забором лает собака. Где-то кричат дети.

Отец переворачивал шампуры. Молча. Сосредоточенно.

Потом сказал, не поднимая головы:

— Ты на Платовский не ходил.

Я замер.

— Нет.

— И не пойдёшь?

— Нет. Она просила.

Отец перевернул шампур. Капля жира упала на угли, зашипела.

— Я её видел, — сказал он. — Летом. В парке. В Александровском. С девочкой.

У меня перехватило горло.

— Не рассказывай, — сказал я.

Отец поднял голову. Посмотрел на меня.

— Почему?

— Потому что если расскажешь — я пойду, — сказал я. — На Платовский. Сегодня. Сейчас. Я сорок километров еле держу. Если расскажешь — не удержу.

Отец смотрел на меня долго. Потом кивнул.

— Не буду, — сказал он. — Только одно. Одно скажу. Можно?

Я закрыл глаза.

— Одно.

— Она меня узнала, — сказал отец. — Через весь парк. Кивнула. Как знакомому. И девочке что-то сказала. Девочка посмотрела на меня. И помахала.

Он вернулся к шампурам.

— Всё, — сказал отец. — Больше не буду.

После шашлыка приехал Рафик.

На синей «Вольво». С тремя семёрками. Один. В тёмных очках. С нардами под мышкой.

Он вошёл во двор. Кивнул мне. Кивнул отцу. Сел на скамейку у забора. Открыл нарды.

Отец сел напротив.

И они начали играть. Молча. Ни слова. Только стук костей по доске. Шорох шашек.

Я сидел на крыльце. Смотрел на них.

Два человека. Бывший зэк, сварщик, отец, который пропил моё детство. И бывший шофёр бандита, сирота из Степанакерта, который потерял брата в Карабахе. Сидят на скамейке во дворе на окраине Новочеркасска. Играют в нарды. Молчат.

И им хорошо.

Я видел. Три секунды. Им было хорошо. Обоим. Как никогда в жизни.

Рафик выиграл первую партию. Отец — вторую. Рафик — третью.

Потом Рафик собрал шашки. Закрыл доску. Посмотрел на отца.

— Хороший дом, — сказал он. Своим высоким голосом.

Отец посмотрел на меня.

— Девятая, — сказал я.

Рафик снял очки. Посмотрел на меня. И — я поклянусь на чём угодно — подмигнул.

Домой я ехал на последней электричке. В десять вечера.

Сидел у окна. Смотрел на огни Новочеркасска, уплывающие в темноту. На собор на горе — огромный, белый, подсвеченный. Войсковой. Его видно из любой точки города. И с электрички.

Где-то там, под этим собором, — Платовский проспект. Дом сорок семь. Квартира двенадцать. Квартира с портретом Чехова и часами с маятником.

Где-то там девочка шести лет спит. В своей комнате. С куклами, которым зашила руки.

Сорок километров.

Я держался за сиденье. Двумя руками. Как на скамейке в парке «Ривьера».

Электричка шла. Огни уплывали.

В кармане завибрировал телефон. Сообщение. От Димки. Из интерната под Дмитровом.

«Ты сегодня у отца был?»

Я ответил: «Был. Шашлык жарили. На мангале. Рафик приезжал».

Ответ пришёл через минуту.

«Круто. А опека?»

Я написал: «В четверг суд. Документы все есть. Если решат — в декабре заберу».

Долгая пауза. Потом:

«Не обещай».

Я улыбнулся. Написал:

«Не обещаю. Делаю».

Ещё пауза. Потом:

«Я тут подумал. Можно я в Новочеркасск тоже буду ездить? К деду твоему? Мотор ему посмотреть. У него Москвич есть?»

Я смотрел на экран.

«К деду твоему».

У Димки не было деда. Никогда. Ни одного.

И он сам, в интернате под Дмитровом, в десять вечера, написал — «к деду твоему». Не «к твоему отцу». К деду.

Я ответил: «Москвича нет. Есть мангал, яблони и сарай с кривыми петлями. И нарды».

Ответ:

«Петли я умею. Нарды научусь».

Электричка въезжала в Ростов. Огни. Вокзал. Сорок километров позади.

Я держал телефон. Перечитывал Димкины сообщения.

И думал, что Вазген был прав. Пастух не уходит от овец. И овцы — сами — находят дорогу к пастуху. Даже из интерната под Дмитровом. Даже ночью. Даже сообщением в десять вечера.

Если пастух никуда не уходит.

Глава 5. Опека

Беседа в отделе опеки была в четверг, пятнадцатого ноября. В Дмитрове. На втором этаже. В кабинете номер семь.

Я пришёл за час. В единственном костюме — тёмно-синем, из «Ле Монти», том самом, что был в пуху от павлинов. Анаит отчистила. Отгладила. Сказала — на такую встречу надо как на свадьбу. Только без цветов.

В коридоре пахло хлоркой, старой бумагой и страхом. На скамейках сидели люди. Справки, заявления, чужие семейные беды. Женщина с ребёнком на руках плакала в платок. Мужчина в спортивном костюме ходил из угла в угол и звонил кому-то. Старуха с папкой молилась.

Я сел на скамейку у окна. Папка на коленях. Синяя, толстая. Сорок три документа. Я их пересчитывал три раза.

Справка о доходах — подсобка на рынке, «Орбита-Юг», двадцать восемь тысяч в месяц. Справка о жилье — двухкомнатная квартира на Нахичевани, договор аренды на два года. Справка из наркологического — «на учёте не состоит». Справка о несудимости. Медкомиссия. Я ещё прошёл двенадцать занятий для будущих приёмных родителей — по вечерам, в октябре. Сам записался. Характеристики — Ирма, Гурам, директор детдома в Деденеве, директор интерната в Дмитрове.

И ещё одна. Которую я не просил.

От Валентины Сергеевны. На бланке коллегии адвокатов — она теперь адвокат. Три страницы. Я прочитал её в коридоре. Первый раз.

Там было написано всё. Про подвал собора. Про тысячу сто восемьдесят четыре дня. Про ларёк на углу Будённовского, мимо которого я хожу каждый вечер. Про парня Алины, которого я привёл в группу.

И последний абзац:

«За двадцать лет работы в прокуратуре я видела тысячи людей, которые говорили, что изменились. Девять из десяти лгали. Я научилась отличать. Максим Ветров — десятый. Я ручаюсь за него своей репутацией, которой у меня, после моей собственной истории, осталось немного. Но то, что осталось, — ставлю на него».

Я сидел на скамейке и перечитывал этот абзац. Пока не позвали.

Начальница отдела была женщина. Лет пятидесяти. Худая, в очках, с усталым лицом. Звали её Лариса Викторовна. На столе — моя папка. Она её уже прочитала. Я видел по закладкам.

Рядом — специалист, которая вела Димкино дело. Молодая женщина, строгая. И юрист отдела. Мужчина, лысеющий, скучающий.

Лариса Викторовна подняла на меня глаза.

— Ветров Максим Викторович, — сказала она. — Двадцать шесть лет. Не женат. Детей нет.

Я хотел сказать — есть. Дочь. Шесть лет. Но промолчал. Это было не моё — говорить. Пока.

— Вы хотите стать опекуном несовершеннолетнего Дмитрия Сергеевича Ковалёва, тринадцати лет, воспитанника интерната номер три города Дмитрова Московской области, — прочитала Лариса Викторовна. — Почему?

Я подумал. Готовил ответ месяц. Красивый, правильный. Про ответственность. Про возможность. Про то, что у мальчика есть способности к технике.

Всё это было правдой.

И всё это было «ничего».

— Потому что пять лет назад я ему соврал, — сказал я. — Сказал, что приеду. И не приехал. Он ждал. Пять лет. Написал мне письмо. «Ты не приехал. Я так и знал». Я приехал. Через пять лет. Это мало. Я хочу, чтобы он перестал ждать. Совсем. Чтобы ему не надо было больше проверять, приду я или нет.

В кабинете было тихо.

Юрист перестал скучать. Поднял голову.

Лариса Викторовна смотрела на меня поверх очков.

Потом юрист задал вопрос. Тот, которого я ждал.

— В материалах дела, — сказал он, листая папку, — есть справка о том, что вы проходили свидетелем по уголовному делу о банкротстве банка «Шахов-Кредит» в две тысячи четвёртом году. Это так?

— Так.

— Вы были, — юрист посмотрел в бумаги, — «лицом» этого банка. В рекламе. И партнёром агентства, через которое выводились деньги.

— Был.

— И вы утверждаете, что не знали?

Я смотрел на него. Три секунды.

Он ждал, что я скажу — не знал. Все говорят — не знал. Он двадцать лет слышит — не знал.

— Знал, — сказал я.

Юрист моргнул.

— Что?

— Знал, — повторил я. — Не всё. Но достаточно. Мне показывали документы. Я видел, куда уходят деньги. Я подписал бумаги, которые не читал. Пьяным. Потому что мне было удобно не знать. Это было самое большое враньё в моей жизни. Не тем, что я сделал. Тем, что я выбрал не видеть.

Специалист что-то записывала. Быстро.

— Я был алкоголиком, — сказал я. — Я и сейчас алкоголик. Просто не пью тысячу сто восемьдесят четыре дня. Это написано в справке Валентины Сергеевны. Я не буду врать вам. Я не буду врать Диме. Я больше никому не вру. Это единственное, чему я научился за три года. И это единственное, что я могу ему дать.

Юрист смотрел на меня. Долго. Потом закрыл папку.

— Вопросов нет, — сказал он.

Потом Лариса Викторовна вызвала Димку.

Он приехал с воспитательницей из интерната. Его мнение должны были выслушать отдельно. Без моих подсказок.

Он вошёл в кабинет. В школьном пиджаке, который был ему мал — рукава до середины запястий. Стриженый. Бледный. С руками в карманах.

Остановился у стола. Посмотрел на Ларису Викторовну. Потом на меня.

Лариса Викторовна смотрела на него.

— Дмитрий, — сказала она мягко. — Ты знаешь, зачем ты здесь?

— Знаю.

— Ты согласен, чтобы Максим Викторович Ветров стал твоим опекуном?

Димка молчал.

Долго. Секунд десять. Я не дышал.

Потом он вытащил руку из кармана. В руке была машинка. Железная, немецкая. Без одного колеса.

Нет. Не та. Та лежала в ящике стола в Адлере — рядом с медведем. Для Лизы.

Эта была другая. Новая. Я прислал ему в сентябре. Тоже немецкая. Тоже с открывающимися дверцами. С четырьмя колёсами.

Он положил её на стол. Перед собой.

— Пять лет назад, — сказал Димка, — он мне колесо на машинке починил. Швейцарским ножом. В детдоме. Сказал — приеду. Не приехал.

Лариса Викторовна смотрела на машинку.

— Я его ненавидел, — сказал Димка. — Два года. Потом перестал. Потом написал. Он приехал. Через девятнадцать дней — документы собрал. Забрал меня на море. Я в море первый раз в жизни был. Он мотор со мной разбирал. Он меня ночью на моле нашёл, когда я сбежал. Проверить. Он сказал — буду приходить каждый раз. Сколько ни уходи.

Он посмотрел на меня.

— У меня аппендицит был, — сказал Димка. — Он меня на руках нёс. До машины. Всю ночь в больнице сидел. Хирургу сказал — отец. Я слышал. Медсестра сказала.

Он повернулся к Ларисе Викторовне.

— Я согласен, — сказал Димка. — Только одно условие.

Лариса Викторовна подняла брови.

— Какое?

Димка посмотрел на меня. Серьёзно. Как Вазген. Как Деспина.

— Пусть не обещает, — сказал он. — Пусть делает. Он умеет. Я проверил.

Они попросили нас подождать в коридоре. Им нужно было ещё раз обсудить документы.

Я сидел в коридоре. На скамейке у окна. Димка сидел рядом. Молчал. Крутил новую машинку.

Воспитательница из интерната сидела напротив. Смотрела на нас. Плакала — тихо, в платок.

Валентина Сергеевна пришла через десять минут. В строгом сером костюме. Села рядом со мной. Ничего не сказала. Просто сидела.

Потом сказала, не поворачивая головы:

— Вы сказали юристу правду. Про банк.

— Сказал.

— Это было рискованно, — сказала она. — Он мог зацепиться. Мог сказать — человек сам признаётся, что знал о преступлении. Мог настоять на отказе.

— Мог.

Валентина Сергеевна помолчала.

— Я двадцать лет задавала людям этот вопрос, — сказала она. — Знаете, что я думала, когда они врали? Когда говорили — не знал, не видел, не помню?

— Что?

— Что им нельзя доверять детей, — сказала она. — Никогда. Потому что дети — это когда каждый день надо говорить правду. Даже когда стыдно. А те, кто врёт в суде, — врут и детям. Я видела. Сотни раз.

Она посмотрела на меня.

— А те, кто говорит правду, когда это опасно, — сказала Валентина Сергеевна, — тем можно. Юрист это тоже знает. Я его учила. Он мой бывший стажёр.

Я засмеялся. Тихо.

Димка посмотрел на нас. Не понял. Тоже засмеялся.

Лариса Викторовна позвала нас через двадцать минут. С папкой в руках.

Мы встали. Она объясняла, какие бумаги ещё нужно оформить. Длинно. Казённым языком. Статьи, пункты, параграфы.

Я не слышал ни слова. Только последнее.

«…возражений против вашей кандидатуры у нас нет. Готовим акт о назначении опекуном. Как только оформим, договоримся с интернатом о передаче Димы…»

Димка стоял рядом. Сжимал машинку.

Когда Лариса Викторовна закончила, он повернулся ко мне. Посмотрел. Долго.

И протянул руку. Не обнять — пожать. Как мужчина мужчине.

Я пожал.

— Ну, — сказал Димка. Голос сорвался. — Это. Делай.

— Делаю, — сказал я.

Когда акт о назначении опекуном был оформлен, я снова поехал в Дмитров. Пятнадцатого декабря забрал Димку из интерната. Насовсем.

Поезд Москва — Ростов. Сутки. Он спал на верхней полке. С рюкзаком. С машинкой. С тетрадью, где были нарисованы моторы.

Квартира на Нахичевани. Двухкомнатная. Старый дом, второй этаж, высокие потолки. Одна комната — моя. Вторая — его. Анаит выбирала обои. Гоша — мебель. Отец сварил полку для инструментов. Рафик привёз нарды. Ирма — лампу. Тётя Галя — тарань.

Димка вошёл в свою комнату. Остановился в дверях. Огляделся.

Кровать. Стол. Шкаф. Полка для инструментов. Окно на Нахичевань — на старые дома, на тополя, на купола армянской церкви вдали.

— Это моё? — спросил он.

— Твоё.

— Насовсем?

— Насовсем.

Димка долго стоял в дверях. Потом вошёл. Сел на кровать. Положил рюкзак рядом. Достал машинку. Поставил на полку.

И тут в комнату вошёл Маршал. Медленно, старый, тринадцать лет, лапы болели. Подошёл к кровати. Посмотрел на Димку единственным глазом.

Запрыгнул. С трудом. Лёг в ногах.

Как в Адлере. Как в первую ночь.

Димка положил руку на кота.

— Помнит, — сказал он тихо.

— Помнит, — сказал я.

Я вышел. Закрыл дверь. Не до конца — оставил щель. Как Деспина оставляла.

Сел на кухне. Налил себе чаю.

И подумал, что четырнадцать лет назад я стоял у двери на Нахаловке и ждал, что она откроется. Час. Потом сделал зарубку.

А теперь — я сам открыл дверь. Для кого-то.

И оставил щель.

В первую ночь я не спал.

Сидел на кухне. С чаем. Слушал.

Квартира была старая — стены тонкие, перегородки из досок, оштукатуренных сто лет назад. Из Димкиной комнаты было слышно всё. Скрип кровати. Шорох одеяла. Мурлыканье Маршала.

И голос. Тихий. Димкин.

Он разговаривал с котом.

Я не хотел подслушивать. Но не мог не слышать.

— Это наш дом, — говорил Димка. — Понимаешь? Наш. Не детдомовский. Не интернатский. Не на месяц. Насовсем. Всё оформили. С печатью.

Маршал мурлыкал.

— У меня никогда не было своей комнаты, — говорил Димка. — В детдоме — двенадцать человек. В интернате — шесть. Тумбочка — одна на двоих. Ничего нельзя оставить — украдут. Машинку я пять лет под подушкой держал. Каждую ночь проверял.

Пауза. Скрип кровати.

— А здесь — полка, — говорил Димка. — Дед сварил. Для инструментов. Я машинку туда поставил. Видишь? На виду. Пусть стоит. Никто не возьмёт.

Маршал мурлыкал громче.

— Я боюсь, — сказал Димка. Совсем тихо. Я еле расслышал. — Что проснусь — и опять детдом. Что это сон. Что Макс передумает. Что скажет — извини, не получилось, давай обратно.

Тишина.

— Ты же не уйдёшь? — сказал Димка. Коту. — Ты меня в Адлере выбрал. Деспина сказала — коты знают. Ты знаешь, что он не передумает?

Маршал мурлыкал.

— Ладно, — сказал Димка. — Я тебе верю. Ты старый. Ты много видел.

Я сидел на кухне. С остывшим чаем.

И думал о Клавдии Ивановне. Которая выходила этого кота пипеткой на помойке в Марьиной Роще. Которая написала мне перед смертью: «Он тебя выбрал. Он никого не выбирает, а тебя — выбрал. Это что-то значит».

Значило.

Кот, который потерял глаз за чужих котят, — лежал в ногах у мальчика, которого все бросали. И мурлыкал. Говорил — не бросят. Я знаю.

В три часа ночи голос за стеной затих. Мальчик уснул.

Я встал. Тихо подошёл к его двери. Щель — я оставил. Заглянул.

Димка спал. На спине. Раскинув руки. Как спят дети, которые ничего не боятся. Я никогда не видел, чтобы он так спал — в Адлере он спал свернувшись, обняв рюкзак.

Маршал лежал у него на груди. Смотрел на меня единственным глазом.

Мы смотрели друг на друга. Кот и я.

Потом Маршал медленно закрыл глаз. И открыл. Как коты моргают, когда говорят — всё нормально. Иди спать.

Я пошёл спать.

Первый раз за много лет — уснул сразу.

Глава 6. Новый год на Нахаловке

Гоша жил теперь в доме своей мамы. На Нахаловке. Через два барака от нашего. В том самом, где в девяностом году толстый мальчик впервые протянул мне пирожок в газете «Комсомольская правда».

Мама Гоши умерла в две тысячи пятом. Он мне не говорил — я был в Адлере, на первом году трезвости. Анаит сказала потом: Гоша запретил. Сказал — Макс приедет на похороны, а там все пьют. Не надо. Я сам.

Он сам. Похоронил маму. Сам перестроил дом — пристроил две комнаты, поставил новую крышу, выкопал погреб. Сам всё. Своими руками. Которые всю жизнь роняли тубу, «Шанель» и чурчхелу.

Дом стал большой. Белый, с зелёной крышей. С виноградом во дворе. С армянским тандыром, который Гоша сложил сам по чертежам тёщи. С качелями для детей.

И с длинным столом во дворе — под навесом из виноградных лоз. На тридцать человек. Гоша сколотил его сам. Сказал — чтобы все помещались.

На Новый год стол не поместил всех. Пришлось ставить второй. Из досок и козел.

Сорок три человека. Я считал.

Гоша и Анаит. Маленький Максим — почти пять лет, носится по двору с бенгальским огнём. Тамара — год, на руках у тёти Сирануш, которая приехала из Еревана с тремя чемоданами гаты.

Арсен и Ирма. Арсен — в тёмном костюме, в очках, седой совсем. Сидит во главе стола. Не потому что хозяин — потому что старший. Ирма рядом. В чёрном. С сигаретой — новогодней, второй за день, Арсен разрешил.

Рафик. В тёмных очках. Даже ночью. Даже на Новый год. У него на коленях сидит маленький Максим и пытается стащить с него очки. Рафик не даёт. Молча. Мальчик хохочет.

Отец. В новом пальто с этикеткой. Рядом с Рафиком — они пришли вместе, привёз Рафик из Новочеркасска. Нарды — под мышкой у обоих.

Тётя Галя с мужем. Муж — дядя Петя — третий год не пьёт. Сидит рядом со мной. Пьёт компот. Кивает мне. Мы — союзники.

Ашот прилетел из Еревана. На неделю. Сказал — не могу без Ростова на Новый год, тридцать лет здесь встречал. Привёз курагу. Три ящика.

Кирилл-диджей. С колонками. Ставит музыку — армянскую, русскую, «Ласковый май». Трезвый. Второй год.

Ирмины девочки из «Орбиты-Юг» — Алина и ещё трое. И парень Алины — бывший, теперь просто друг, с четырьмя месяцами в подвале собора.

Валентина Сергеевна. Строгая, в сером. Пришла на полчаса — осталась до утра.

Соседи. Баба Дуся с первого этажа — девяносто лет, в пуховом платке, с семечками. Дядя Миша-молдаванин из винного ряда.

И Димка.

Димка стоял у ворот. В новой куртке — Анаит купила. В новых ботинках — Гоша купил. С новым телефоном — Ирма подарила.

Он стоял у ворот и не входил.

Я видел. Три секунды.

Он никогда не встречал Новый год в семье. Ни разу. Почти четырнадцать лет. В детдоме — актовый зал, ёлка из пластика, мандарин в пакете от спонсоров, воспитательница в костюме Снегурочки, отбой в одиннадцать. В интернате — то же самое, только старше.

А здесь — сорок три человека. Двор. Тандыр. Шашлык на мангале — отец жарил, на нашем, Деспинином. Армянская музыка. Дети с бенгальскими огнями. Старухи с семечками.

Он стоял у ворот. Как я когда-то у двери триста двенадцатой.

Я подошёл. Встал рядом. Не тянул. Не звал.

— Много их, — сказал Димка тихо.

— Много.

— Они все… твои?

Я подумал.

— Наши, — сказал я.

Димка посмотрел на меня.

— Я никого не знаю.

— Знаешь, — сказал я. — Гошу знаешь. Анаит. Отца. Рафика. Ирму. Это уже шестеро. Остальные — узнаешь. За вечер.

Димка стоял. Не двигался.

И тут к воротам подошёл Арсен.

Он встал перед Димкой. Седой, в очках, в тёмном костюме. Руки — не за спиной. Вдоль тела.

Димка смотрел на него снизу вверх. Настороженно. Как на директора детдома.

— Ты Дмитрий, — сказал Арсен.

— Я.

— Механик, — сказал Арсен. Не спросил.

Димка моргнул.

— Откуда вы…

— Макс говорил, — сказал Арсен. — Ты мотор на баркасе разобрал. И собрал. Без лишнего винтика.

Димка покраснел.

— Один раз был лишний, — сказал он. — На машинке. В детдоме. Я его приклеил сбоку.

Арсен улыбнулся. Тонко, одними губами.

— У меня есть гараж, — сказал он. — За Северным. Старый. Там тридцать лет машины чинили. Сейчас пустой. Инструменты, подъёмник, сварочный аппарат. Всё ржавеет. Некому.

Он помолчал.

— Хочешь посмотреть? — спросил Арсен. — Завтра. Первого января. Утром. Я покажу.

Димка смотрел на него. Долго.

Потом посмотрел на меня.

Я кивнул.

— Хочу, — сказал Димка.

— Хорошо, — сказал Арсен. — Тогда иди за стол. Тебе надо есть. Ты худой. Механики должны быть сильные. Подъёмник тяжёлый.

И Димка пошёл. За Арсеном. Через двор. К столу.

Сел рядом с Рафиком. Маленький Максим тут же перелез с Рафиковых колен к нему.

— Ты кто? — спросил маленький Максим.

— Дима.

— А я Максим. Как дядя Макс. Меня в честь него назвали. А тебя в честь кого?

Димка подумал.

— Не знаю, — сказал он. — Меня никто не называл. Мне в детдоме имя дали.

Маленький Максим подумал тоже. Серьёзно, по-детски.

— Тогда давай ты будешь в честь меня, — сказал он. — Можно?

Весь стол засмеялся.

Димка тоже.

В полночь Гоша вынес барабан.

Тот самый. Пионерский. С надписью «ПРОВОДЫ МАКСА», которую он нарисовал краской в две тысячи первом году, когда я уезжал в Москву. Семь лет барабан стоял у него на чердаке.

Теперь на нём было написано другое. Свежей краской. Поверх старой надписи. Буквы — кривые, весёлые, Гошины:

«ВСТРЕЧА МАКСА. НАВСЕГДА».

Гоша повесил барабан на шею. Встал во главе стола. Рядом с Арсеном. Взял палочки.

Куранты били по телевизору — Кирилл вынес его во двор.

На двенадцатом ударе Гоша ударил в барабан.

И все закричали. «С Новым годом!» Сорок три человека. Бенгальские огни. Салют над Нахаловкой — кто-то из соседей запустил. Собаки залаяли во всех дворах.

А я стоял у ворот. Смотрел на двор. На стол. На людей.

На отца, который обнимался с Рафиком. На Арсена, который целовал Ирму — сухо, в щёку, при всех, первый раз на людях. На тётю Галю, которая плакала и обнимала бабу Дусю. На Ашота, который учил Валентину Сергеевну есть курагу с орехом. На Кирилла за колонками. На Алину и её бывшего, которые танцевали — просто так, как друзья.

На Димку. Который сидел за столом. С маленьким Максимом на коленях. И с Маршалом под стулом — кота тоже привезли, он не хотел оставаться один. Димка смотрел на салют. И смеялся. Широко. Всем лицом. Как Бим.

Гоша бил в барабан.

И я подумал, что четырнадцать лет назад, на этой же улице, в этом же дворе, в этот же час, я сидел один в пустой квартире на втором этаже барака номер семнадцать. Отец спал пьяный. Мать была в Волгограде. А я смотрел в окно на салют над Нахаловкой. И не знал, что через два барака, в этом доме, толстый мальчик с мамой ставят на стол лишнюю тарелку. Каждый Новый год. На всякий случай.

Анаит потом сказала — Гошина мама ставила. Двенадцать лет. Лишнюю тарелку. Для Максика. Вдруг придёт.

Я ни разу не пришёл.

А сегодня — тарелку поставили Димке.

Первого января, в десять утра, Арсен повёз Димку в гараж.

Я поехал с ними. Не звали — я напросился. Сказал Арсену — хочу посмотреть. Арсен посмотрел на меня поверх очков. Сказал — садись сзади.

«Вольво». Рафик за рулём. Арсен впереди. Мы с Димкой сзади. Новогодний Ростов — пустой, серый, с конфетти на асфальте и пустыми бутылками у подъездов.

Гаражи за Северным. Тот самый гаражный кооператив, где в девяносто девятом, в сентябре, Арсен держал в руке серёжку Тамары и смотрел на меня. Где я впервые увидел его гараж — огромный, на три бокса, с подъёмником, с инструментами на стенах, как в операционной.

Девять лет.

Гараж стоял. Только ворота — ржавые. Замок — тоже. Арсен долго возился с ключом.

Открыл.

Внутри — темно. Пахло машинным маслом, пылью, холодом. Арсен щёлкнул выключателем. Лампы под потолком загорелись — не все, две из шести.

Подъёмник. Верстак. Стеллажи. Инструменты на стенах — ключи, отвёртки, молотки, всё по размеру, всё на своих местах. Покрыто пылью. Как в музее.

В дальнем боксе — машина. Под брезентом.

Димка стоял в воротах. Не входил.

Смотрел.

Я видел его лицо. Как в Адлере, когда он увидел море из окна поезда. Как когда я протянул ему бумагу из опеки.

Он не верил.

— Заходи, — сказал Арсен.

Димка вошёл. Медленно. Подошёл к стене с инструментами. Протянул руку. Потрогал ключ — гаечный, на двадцать два. Снял с крючка. Подержал. Повесил обратно. Точно на место.

Арсен смотрел.

Димка подошёл к верстаку. Провёл пальцем по пыли. Посмотрел на тиски. Покрутил ручку. Ручка скрипела.

— Смазать надо, — сказал он тихо. Себе.

Арсен кивнул.

Димка подошёл к подъёмнику. Посмотрел снизу вверх. Нашёл гидравлику. Посмотрел на шланги. На манометр.

— Давление упало, — сказал он. — Масло надо долить. И прокладки поменять. Вон та — потекла.

Арсен снова кивнул.

Потом Димка подошёл к машине под брезентом.

Остановился. Посмотрел на Арсена.

Арсен подошёл. Взялся за край брезента. Потянул.

Под брезентом стояла «Волга». Двадцать первая. Чёрная. Пятьдесят седьмого года. С хромированным оленем на капоте. С выцветшими кожаными сиденьями. Со ржавчиной на крыльях.

— Отец мой, — сказал Арсен. — Купил в пятьдесят девятом. В Ереване. Подержанную. На все деньги. Хотел на ней ездить на Севан. На рыбалку. Ездил три года. Потом — разбил. Пьяный. Об столб. Не сильно. Но чинить не стал. Пил.

Он провёл рукой по капоту. По хромированному оленю.

— Я её привёз сюда в восемьдесят пятом, — сказал Арсен. — Из Еревана. После его смерти. На платформе. Хотел починить. Двадцать три года хотел. Не починил. Не было времени. Были деньги, дела, рынок.

Он посмотрел на Димку.

— Не было времени, — повторил Арсен. — Это неправда. Было. Я не хотел. Каждый раз, как открывал капот, — видел отца. Пьяного. На Севане. С удочкой, которую он мне не давал. «Кто первый дёрнется — тот и проиграл». А сам — дёргался всю жизнь.

Он отошёл от машины.

— Она не заводится с восемьдесят девятого, — сказал Арсен. — Карбюратор. Мотор. Всё.

Он посмотрел на Димку.

— Хочешь — чини, — сказал он. — Не хочешь — не чини. Твоё дело. Гараж — твой. Ключи — твои. Инструменты — твои. Волга — тоже.

Он протянул Димке связку ключей.

Димка смотрел на ключи. Не брал.

Посмотрел на меня.

Я стоял в воротах. Не двигался. Не кивал.

Это было не моё решение.

Димка посмотрел на «Волгу». На хромированного оленя. На ржавые крылья.

Потом — на Арсена.

— Почему мне? — спросил он.

Арсен долго молчал.

— Потому что ты в Адлере мотор разобрал, — сказал он. — «Ижевец». И собрал. Без лишнего винтика. Максим рассказывал. Я двадцать три года не мог открыть капот. А ты — открыл чужой. На чужом баркасе. Деспининого мужа. Который тоже пил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.